Кондратьев Вячеслав Леонидович

21.9.94

19

ПРАВДА 21 сентября 1994 года ◆ №

с. 8

Последний выстрел сержанта Кондратьева

Что за тайной смерти замечательного писателя-фронтовика?

II.

Он выстрелил в себя 21 сентября.

В тот день, когда был оглашен зловещий указ под номером 1400, положивший конец законной парламентской демократии в стране и предвестивший расстрел Верховного Совета.

Нет, конечно, Кондратьев еще не знал об этом указе, который стал известен только вечером. Но мне представляется символичным такое совпадение во времени. Как будто одиночным выстрелом своим он хотел остановить угрозу многих выстрелов и в конце концов — танковую канонаду, которая через две недели прогремит в центре Москвы. Ведь он чувствовал (уж это можно сказать уверенно), всей своей незаурядной человеческой и писательской интуицией чувствовал да и умом осознавал приближение большой крови. И всё существо его противилось этому.

Один факт — но весьма значительный. О нем недавно поведал уже поминавшийся мною литературный критик Александр Коган:

«За несколько дней до своего трагического конца мне позвонил Кондратьев. «Только что звонил Оскоцкий, предложил подписать коллективное письмо президенту».— «Подписали?» — «Нет, конечно». «И это вы, подписывавший до сих пор все обращения демократов?» — «Да, подписывал! И не сожалею, и ни одной подписи назад не возьму. Но я взывал к разуму, а не к крови».

Речь шла о подстрекательском обращении 37 писателей с требованием досрочных, не позднее осени, перевыборов парламента, то есть фактически немедленной насильственной ликвидации законных органов представительной власти. Кондратьев понял: гуманисты накликают кровь.

«Как в воду глядел! — замечает сегодня А. Коган.— Разговор происходил в середине сентября... О том, что произошло дальше, Кондратьев уже не узнал. Я иногда думаю, хорошо, что не узнал. Хорошо, что последние залпы он слышал «на той, далекой» — на Отечественной...»

Да, страшных залпов на Краснопресненской набережной он уже не услышал. Но горькое разочарование всем, что вело и привело к этому кошмару, успел пережить. В том числе — разочарование в Ельцине, которым он восхищался.

Вот интервью в канун президентских выборов 91-го года. Ответ на вопрос, почему он, Кондратьев, будет голосовать за Ельцина. Один из доводов — Б. Н. не похож на всех прежних руководителей компартии и нашего государства, которые не приближали к себе тех, кто мог бы создать им хоть малейшую конкуренцию. Вот и Горбачев «освободил свою команду от неординарных личностей, заменив их посредственностями».

«Не так сделал Ельцин,— говорит Кондратьев.—Мы знаем, что в его команде совсем другие люди. Мне кажется очень удачным выбор Ельциным кандидатуры вице-президента. Руцкой тоже сильная личность, и он не станет карманным вице-президентом, а наверняка будет иметь свое мнение и резать правду-матку. Но Ельцина это не пугает, и в этом проявляется прекрасное человеческое качество настоящего руководителя—окружать себя не безликими посредственностями, а людьми яркими, высокоинтеллектуальными. И это, по-моему, является определенной гарантией успехов в деятельности президента».

Ах, как он ошибся, Вячеслав Леонидович! Известно же, чем кончилась та «гарантия». А рушилась она на глазах у Кондратьева — рушилось его восторженное представление о ельцинском демократизме и терпимости.

Не потому ли за все время нараставшего диктаторского антипарламентского наступления президента, взахлеб поддержанного бесовской вакханалией «демократической» интеллигентской тусовки, Кондратьев о своей поддержке этих действий не заявил? Ни разу. Ни коллективно, ни индивидуально. Во всяком случае ни в одной из его публикаций (повторюсь: весьма многочисленных), которые мне удалось собрать, я таких заявлений не отыскал.

◇

А последний день прощания его с нашей грешной землей тоже ознаменовался пронзительным символом.

День похорон, 29 сентября. Москва, в абсолютном большинстве вовсе и не знавшая об этих похоронах, замерла в невыносимо напряженном предчувствии другой трагедии. Уже почти достигло критической точки острейшее противостояние на задымленной ночными кострами и опутанной «колючкой» площади перед «Белым домом». Уже озверевшие омоновцы избивали дубинками всех, кто пытался проникнуть сюда из прилегающих станций метро. Уже плотными вооруженными кольцами были оцеплены улицы вокруг. И вот гроб с телом погибшего писателя, который везли в Центральный дом литераторов, опоздал к назначенной панихиде.

Так трагедия страны последний раз отозвалась в его трагедии.

Впрочем, нет, что я говорю: это же было как раз последнее подтверждение, что трагедия его и родной страны — одна! Общая. Вплоть до конечного своего земного срока он, теперь даже бездыханный, как всегда, разделял с Россией выпадавшие ей испытания.

Шла среда, 29 сентября 1993 года. До расстрела российского Дома Советов оставалось пять дней...

◇

Сегодня можно только предполагать, как отнесся бы он к тому трагическому расстрелу. Рискну все-таки сказать: если не подписал письмо 37 рьяных «демократов», звавшее к крови, то вряд ли подписал бы и следующее — письмо 42-х, которое, появившись сразу после расстрела, не только его оправдывало, но и требовало от правительства и президента не церемониться с оппозицией, добить ее.

Между прочим, под обоими этими кровожадными документами — автографы нескольких утонченных эстетов и интеллектуалов. Вот парадокс! Ладно там фигуры подписантов, которых и писателями-то можно назвать лишь с большой натяжкой и которые всю свою известность получили на подобного рода скандальных коллективных акциях. Им кровь не кровь — прут напролом. Но вот и люди вроде душевно тонкие не остановились перед вопиющей жестокостью!

Кондратьев — остановился.

А уж, казалось бы, ему ли, бывалому солдату, уступать в непримиримости нежной лирической поэтессе, пороху не нюхавшей...

Когда я думал об этом, мне вспомнился кондратьевский рассказ «На сто пятом километре» — о довоенной еще службе его на Дальнем Востоке. Есть там такой эпизод. Герой рассказа — сержант, в котором легко угадывается автор, подстрелил по просьбе бойцов дикую козочку. На подкорм коллективу, так сказать. И вдруг, увидев большие влажные глаза недобитого животного, ловит себя на мысли, что не в состоянии вторично нажать на спусковой крючок.

«Неужели я такой хлюпик? Ведь впереди война!»

«И думаю еще: в нас не воспитали жестокость. Нас учили воевать, но жестокости не учили».

А я думал, перечитывая это: он и прошел потом жесточайшую войну, но жестокости все равно не научился! Потому, собственно, и родилась знаменитая повесть «Сашка».

Он сам, как Сашка его, остался человеком среди всяческого бесчеловечия войны.

Он остался человеком и среди бесчеловечия нашего времени.

◇

А может, как раз война, испытывавшая на излом, укрепила в нем лучшие человеческие качества? Есть же у него откровение в одном из интервью 92-го года: «Не хочу хвастаться, но, когда человек прошел опыт самопожертвования во время войны, высокая точка нравственного отсчета остается навсегда. Конечно, не у всех, но все-таки остается, даже несмотря на то, как сложилась жизнь. И вот, пожалуй, только в самое последнее время я осознал, насколько глубока нравственная деградация нашего общества и людей, пришедших к власти, в том числе».

Оговорка — «конечно, не у всех» — тоже кажется мне значительной. Ведь среди подписавших те жестокие письма были и писатели-фронтовики. А раньше эти же несколько известных писателей одобрительно приняли неимоверную жестокость ельцинско-гайдаровского шока, ударившего по самым беспомощным и слабым. Не подняли голос и против несправедливого разделения общества на очень богатых и очень бедных, против циничной, необузданной безнравственности новой власти. Значит, та высокая точка нравственного отсчета, о которой говорил Кондратьев, сохранилась в полной мере действительно не у всех прошедших опыт военного самопожертвования? Или тут перевесили соображения демократической «партийной принадлежности»?

Наверное, проблема такого нравственного выбора будет существовать всегда: закрыть глаза на несправедливость, если она проистекает от «своих»,— либо сказать правду. Мы уже знаем, какой выбор сделал Кондратьев.

◇

Довелось слышать, что Кондратьева теперь будут перетягивать на свою сторону и демократы, и патриоты. Хорошо знавший его журналист Александр Николаев сказал по-другому:

— Он был демократ и патриот.

И с этим, пожалуй, можно согласиться. Я добавил бы: истинный демократ и истинный патриот.

Чтобы убедиться в его патриотизме, достаточно перечитать то, что он написал. Особенно о войне. Здесь не только тяжелейший окопный быт и горькая правда нередко безжалостного отношения к людям, противостоявшая официозной, парадной «правде», но и трепетное чувство любви к родному дому, к Москве с ее дорогими сердцу уголками и переулками, к России.

Может, потом, с годами, взгляд у него на это переменился? Да нет. Вот публикация в ярославской газете «Очарованный странник»—одна их последних, она после была даже названа «Последнее интервью Вячеслава Кондратьева».

Корреспондент, понятно, не мог не задать ему вопрос, который определенными силами всё больше нагнетается и подогревается: «Не возникает ли у вас сейчас мысли, что такие огромные жертвы, принесенные в войну, были напрасными?»

— Нет, нет,— твердо отвечает Кондратьев.— Мы воевали за свой дом, за свою улицу, за свою Москву, за свою деревню, за своих близких. Мы воевали за Россию... И выиграл войну, конечно, русский патриотизм.

Вот так. Яснее, по-моему, не скажешь.

Вообще, что касается оценки войны, которая стала камертоном всей его жизни, он ведь во многом — да в самом главном, пожалуй! — так и не сошелся с наиболее рьяными своими однопартийцами-«демократами». Для тех-то сомнений нет: поскольку Гитлер и Сталин одинаковы, «мы всерьез и не отличались от немецких фашистов» (слова Б. Окуджавы). Раз воевали два тоталитарных режима, нечего торжествовать по поводу победы одного из них...

Кондратьев судит иначе. При всей острой критике наших политических и военных просчетов, при всем однозначно отрицательном отношении к Сталину и сталинизму, он не переставал, однако, повторять: «То, что готовил Гитлер нам,— это несравнимо, это ужасно». И напоминал: «Мы спасли свое государство».

Спасли не потому, что в спины советских солдат были нацелены дула пулеметов, которые, дескать, и гнали людей в атаку. Он, вспоминая свой первый бой на Овсяниковском поле да и многие другие бои, снова и снова категорически опровергал такое: «Это сегодня некоторые, которые хотят умалить беспримерный подвиг народа, вопиют о том, что всю войну мы воевали под угрозой стоящих за нашей спиной заградотрядов. Чушь это!»

Не менее определенно реагировал на книгу предателя Резуна-Суворова «Ледокол». В ней, как известно, автор выдвинул такое обвинение: Советский Союз — главный виновник и главный зачинщик войны.

Многие «демократы» встретили это на ура. «Суворова прочитал с интересом и не склонен подозревать его в фальсификации»,— заявил, например, Окуджава. А оголтелая критикесса Татьяна Иванова даже провозгласила это сочинение «великой книгой».

Совсем не то — Кондратьев. «Саша! — написал он журналисту Александру Николаеву.— Эту сугубо конъюнктурную и лживую книгу можно, наверно, и не читать, тем более что физиономия автора ее не вызывает доверия и симпатии».

«Великая» — и «лживая»... Дистанция огромного размера!

Обращаясь же в «Российской газете» к самому г-ну Суворову, он подытожил: «Никакой «легенды» вы не вышибли из-под ног, так как ничего своей книгой не доказали. Война наша была Отечественной, и без всяких кавычек, и с большой буквы. Таковой и останется в истории».

◇

Что же, я все это привожу, чтобы Кондратьева куда-то «перетянуть»? Нет. Само такое намерение считаю кощунственным. Но считаю также, что мы должны знать и помнить всю правду о Кондратьеве. Не в навязываемой одномерности, продиктованной тем же узкопартийным интересом, а во всей сложности и противоречивости, которые свойственны настоящему исканию истины. Без этого искания он, Кондратьев, немыслим.

Конечно, он бывал противоречив. И, конечно (надо это четко сказать!), при всем при том не изменил в основе негативного отношения ни к коммунизму, ни к нашему советскому прошлому. Однако вот что интересно. Чем дальше шли уродливые демреформы, тем чаще в его высказываниях появляется мысль: стало не лучше, а хуже.

Если говорит об отношении к войне и ветеранам, то признаёт, что «теперешняя обида оказалась горше». Если о привилегиях правителей — «такого бесстыдного жирования раньше не было». Если о литературе — «уважение к ней, к писательской работе, безусловно, было в нашей жизни».

Изумляется: «Жили мы, поживали и как-то дебет с кредитом сводили, а сейчас вдруг сразу все убыточным стало: и связь, и транспорт весь, и журналы, и выращивание индюшек даже...»

Требует: «Извольте сохранить то, что достигнуто. Народ пока бедный, он не может позволить себе платное обучение, медицинское обслуживание».

И коммунистические идеалы вовсе не кажутся ему лишь поводом для издевательств и ёрничания, как это у «демократов» принято. «Сколько бы сейчас ни говорилось и ни писалось об утопичности этих идеалов,— замечает он,— надо признать, что они делали скудную и серую жизнь простого человека в какой-то мере одухотворенной. Ведь сознание, в котором существует постулат «не для себя живем, а для будущего», это сознание альтруистическое, сходное с религиозным, которое, несомненно, как-то осмысливает жизнь человека, и его нельзя совсем сбросить со счетов».

Подчеркну еще раз: вовсе не собираюсь представлять Кондратьева обратившимся в коммунистическую веру. Однако и не могу забыть, что, при всем своем антикоммунизме, он, никогда в КПСС не состоявший, в отличие от приспособленцев-перевертышей не плевал ни на «Правду», ни на «Гласность», не отгораживался демонстративно от этих газет. Шел и сюда, чтобы сказать свое слово.

Человек совести, наверное, всегда шире и выше партийных догм. И человеку совести всегда труднее жить. Он — не игрок, которым владеет холодный расчет или горячий азарт, но которому душевные муки неведомы. В самом деле, сколько мы насмотрелись за последние годы, как легко, небрежно, играючи коммунисты превращались в демократов-антикоммунистов, а потом, столь же легко, иные демократы начали превращаться в патриотов! Легкие люди. Картинно сжечь партбилет перед телекамерой — просто игровая сцена, ничего в душе не затрагивающая.

Убежден: он так бы не смог. Таким, как он, перемена вер дается трудно. А столкновение веры, надежды с реальностью, которая их вдруг опрокидывает, оборачивается внутренними терзаниями. Господи, знает только сам он, какие мучения ему пришлось перенести!..

◇

И вот прошел год, как его нет. Что сказать? Жизнь для большинства к лучшему не изменилась. Конечно, богачи стали еще богаче, но бедняки — еще беднее. Похищенные сбережения никому не возвращены, даже старикам, за которых особенно ратовал Кондратьев. Да и все другие ратования его остались, можно сказать, без удовлетворения. Никто из новых властителей с привилегиями своими не расстался. Ваучеры окончательно обличили себя как очередное (грандиозное!) надувательство людей и хитрый способ их ограбления. Культура продолжает рушиться. По просторам СНГ и уже по самой России полыхают кровавые конфликты и войны. Ветераны Отечественной? Их по-прежнему как только не оскорбляют, возводя все более злобную хулу и клевету на нашу Победу. Мало того, оскорбили демонстративным пренебрежением и в международном масштабе — не пригласив на празднование юбилея открытия второго фронта. Представив дело так, что именно этот фронт, возникший меньше чем за год до окончания войны, а не жертвенное единоборство советского народа с гитлеровской ордой в предыдущее трехлетие, обеспечил победоносный исход. И российский президент — ничего, сглотнул это. Нам теперь не привыкать сглатывать...

Словом, что же? Ничему, совсем ничему, я думаю, не порадовался бы Вячеслав Леонидович. Всё по-прежнему, как он определил два года назад (помните?), «делается не так и не то».

Трудно смириться, что теперь мы уже не услышим его самого. Вот почему так взволновало недавнее известие: опубликована посмертная статья Вячеслава Кондратьева.

Подумалось: это как голос Оттуда. И заголовок — будто завет: «Помнить о смерти, думать о жизни».

Читатель, конечно, заметил, что в этом моем очерке было много цитат. Мне хотелось, чтобы о Кондратьеве больше сказал не я, а сам Кондратьев. Наверное, правильно будет и тут не пересказывать, а по возможности предоставить слово ему, тем более что тираж альманаха «Кольцо А», где последняя статья напечатана, весьма невелик. И ничего, что некоторые мысли будут знакомы вам по другим его высказываниям: это лишь окончательно утверждает, что́ было и осталось для него самым главным.

◇

«Мы уходили в армию, когда над нами уже висел страшный паучий призрак войны и мы предчувствовали ее...»

Признаюсь, сердце сжалось от этих первых строк, словно воскресивших памятную интонацию его хрипловатого баса.

Да, с ним остается война.

«Можно ли забыть такое?— спрашивает он.— А нам твердят: ну что вы опять о войне, столько же лет прошло, сколько можно ее поминать, да и зачем снова об ужасах, о крови, о трупах, да перестаньте вы!.. Наверно, и понятны такие суждения со стороны тех, кто родился позже, кто не прожил эти страшные годы, кто знает о войне лишь по книгам, кто не «посетил сей мир в его минуты роковые», кто не пережил и того взлета духовных сил, того накала патриотических чувств, той не абстрактной, а живой и трепетной любви к Отчизне и к своим соотечественникам. Такого в нашей жизни уже не будет никогда, и это вспоминаем мы, это не можем забыть. В войну произошло очищение всех нас, всего народа от всего смутного, мелкого, эгоистичного, все это отпало, ушло перед единой великой целью — спасти Отечество».

Вчитайтесь, вслушайтесь, вдумайтесь в слова старого солдата и гражданина своей Родины! Постарайтесь понять и прочувствовать, почему именно об этом даже после смерти он пытается докричаться до нас, почему снова и снова с такой остротой вспоминает:

«И вот эта торжественная и незабываемая минута, когда солдат поднимается из окопа и переступает черту между жизнью и смертью, и идет навстречу огню, идет по полю, где на каждом шагу лежат убитые в предыдущем бою, эта минута настолько высока, в ней сконцентрировано столько противоречивых чувств — и страха смерти, когда куда-то падает сердце и становятся ватными ноги, и холодное слово «надо», которым стараешься преодолеть страх, и понимание, что у тебя нет никакого лишнего шанса перед теми, кто шел до тебя и... не дошел, что это, может, последние миги твоей жизни, что лежать тебе серым комочком, незахороненным на этом проклятом поле, и кроме собственного ужаса перед смертью — дикая боль за мать и огромная жалость к ней, которая через неделю-две получит похоронку, страшную бумагу, которую с ужасом ждут все матери, и еще целый клубок чувств и мыслей перед тем, как делаешь ты первый шаг на поле боя... Но ты его делаешь. И для него мало одной ненависти к врагу, ненависть не может подвигнуть на то, чтоб пожертвовать своей жизнью, подвигнуть на это может только любовь. Так вот не смерть и кровь вспоминаем мы все эти годы, прошедшие после войны, мы переживаем заново те чувства, которые испытали, ведь на войне мы были лучше, чем до нее и после нее...»

И это всё — о, позор! — для многих нынче стало как бы не в счет. Да что там — стало поводом для обвинений, насмешек, подленького ехидства...

«В той переоценке ценностей, которая с такой вакханалией происходит сейчас у нас в обществе, кощунственно допускается и переоценка подлинных ценностей. И надо с горечью признать, что больные и старые участники войны, отдавшие защите Родины лучшие свои годы, потерявшие и здоровье и время (ведь за четыре года войны, а многие прослужили и семь лет, они могли и закончить вузы, и получить профессию), являются теперь не самыми уважаемыми членами общества. Молодые и не очень молодые, не хлебнувшие и тысячной доли того, что выпало старшему поколению, упрекают ветеранов: вот вы, оболваненные пропагандой, воевали, победили и этой победой спасли и укрепили сталинский режим, а что эта победа дала всем нам, живем мы хуже побежденной Германии, она вот подачки нам сейчас присылает... И невдомек упрекающим, что не Сталина и его режим мы спасали, мы спасали себя, Россию, государство. Поведение немецких войск на оккупированных территориях не оставляло сомнений, что гитлеровцы ведут войну на уничтожение всех народов страны, что их победа принесет нам больше горя и несчастья, чем принес собственный тоталитарный режим. И это мы все понимали».

А вот чем обернулась в сегодняшнее извращенное время Победа для тех, кто ее завоевал:

«И раньше, когда главным ветераном был Брежнев, особо не баловали, но хоть уважение существовало какое-то к участникам войны, сейчас же и этого нет — отработанный материал, что с ними цацкаться? Вот и выходят ветераны на площади, потому что жизнь у них перечеркнули. И ратные подвиги оказались ни к чему, и труд сорокалетний, тоже несладкий. И то, что накопили на старость за долгие годы, отказывая себе во многом,—тоже все прахом... Безнравственно ведут себя молодые прагматики, если не сказать посильнее. А мы упрекаем: ветераны войны — консервативная часть общества, на коммитинги ходят, портреты Сталина носят».

«А разве не обидно,— продолжает он,— что праздник Победы угас, не очень-то празднуется, а это единственный по-настоящему народный праздник, потому как народ победил в той войне. Он самый! Скоро — 50-летие Победы. Много ли останется их, победителей, сколько доживет до этой даты и, главное, как доживут? Непростительно будет, если придут они к этому дню полуголодные, в старой обувке, в залатанных костюмах, лишенные грошовых сбережений, обкраденные демократическим правительством России. Кто же после такого станет защищать такую Россию и такое правительство?! Хоть об этом надо подумать властям предержащим... И эти слова я обращаю лично к президенту».

Но что президент, что все эти многолюдные новые власти, перелицевавшиеся из старых. «До тошноты знакомое: в первую очередь занялись строительством сим для себя, любимых». То есть строительством лично своего, а не народного счастья. «И занялись гораздо нахальней, беспардонней», чем прежде.

«А может быть,— в страстном праведном гневе вопрошает он,— все-таки именно нам, спасшим Россию в минувшей войне, отдавшим немало сил и труда на ее послевоенное восстановление, поднять свой охрипший в былых атаках голос и воскликнуть: «Что же вы делаете? Опомнитесь! Вы и Россию, и нас, и себя погубите! Откажитесь, пока не поздно, от «кормушек», от привилегий, назначьте себе оклады не выше средних по стране, разделите трудности со всем народом. Тогда, возможно, призывы ваши потерпеть, которые сейчас ничего, кроме гнева и раздражения, не вызывают, дойдут до нас. Ежели терпеть, то всем, всем на своих двоих выкарабкиваться из болота, а не так, чтоб одни с кочки на кочку, а другие на персональных вездеходах. Верните к себе веру, ведь без нее ни у вас, ни у нас ничего не получится! Ну, пожируете еще пару годков, а потом-то что?..»

◇

И — самое последнее. Слова, завершающие это пронзительное послание из горних высей. Слова, от которых, честно скажу, я вздрогнул. Слова, обращенные к ним же, к нынешним властителям России:

«Боюсь, что 9 мая после традиционного тоста за помин души погибших своих друзей-товарищей и за здравие оставшихся в живых, наверно, не поднимется у меня рука с рюмкой, чтобы выпить и за вас, товарищи-господа. Смутит ли вас это, не знаю, но тост бывшего фронтовика должен, по-моему, что-то и для вас значить».

Неужели при всем своем бесстыдстве никто из них даже не покраснеет после этой пощечины с того света?

Виктор КОЖЕМЯКО.

● **Правый снимок сделан на Дальнем Востоке в 1939 году: Кондратьев только что принял красноармейскую присягу. Второй — в 1993-м, незадолго до гибели. Между ними — жизнь...**

Окончание. Начало в номере за 20 сентября.